Л. ХРАПОВИЦКИЙ <Л. М. РЕЙСНЕР>

Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому

I

Александр Блок никогда не был революционером и реформатором.

Величие его поэзии не искало пурпурных и золотых слов.

Всегда большой и незабываемый, даже в пошлых образах, даже в поблекшей теме, он бесшумно переступил черту временного и ничтожного. Его влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, тончайшей математической формулы.

Из сумерек социального упадка он вынес цветок мистической поэзии, бледный, но благоухающий, и в этом его величайшая заслуга. Но подражать Ал. Блоку, его полутонам, его лирике, выросшей без света и воздуха, его любви, затерянный в сером, холодном небе, — невозможно и бесполезно.

Как всякое завершение Блок неповторим.

И современная поэзия не совершила этой ошибки.

В беспорядочном бунте футуризма, каким бы скандалом он ни был, выразились жажда жизни и творчества и желание и воля новых поколений.

Улица, прельщенная желтой блузой и развязными манерами, оценила новых героев, и с улюлюканьем проводила их на олимп русской литературы.

Теперь, обезвреженные и прирученные, подробно описанные критикой, русские футуристы далеки от своей площадной купели.

Два имени в особенности вошли в общее употребление и пошли по рукам: Игорь Северянин и Вл. Маяковский.

Начнем с прославленного эголирика.

Он принес с собой радость, этот странный человек с мертвым лицом и глубочайшим голосом.

В ночных кафе, после трех часов ночи, перед ошеломленными профессионалами его «поэзы» кипели, как брага, цвели, как цветет счастие:

Пою в помпезной эпиталаме,
(О, Златолира, воспламеняй)
Пою безумье твое и пламя,
Бог новобрачных, бог Гименей...

Он дерзал любить и благословлять. Как отпущение грехов, цвели ландыши его весны, и форма стиха была, как прозрачнейший лед.

Как много богатства и щедрости, и все это нам, «талантливым трусам и обнаглевшей бездари».

И только одну непоправимую ошибку совершил Северянин.

Вместо обнищавшего человечества он призвал к себе улицу, скверную и безнадежную улицу.

Кокотки зашелестели муаровыми шелками поэта. Все, бесславно увядшие и поношенные, цветными карандашами подчеркнули прославленную моложавость и прозрачность жалких лиц. Это была поэтическая косметика, крем и пудра Северянина.

А эти, бездарные и оскудевшие, наша знаменитая «чуткая» молодежь, беззаботно идущая на удобрение общественной почвы! И она причастилась.

Восторгаюсь тобой, молодежь!
Ты всегда, даже стоя, идешь!

Когда-то поэт мечтал о хрустальном гробе, о сказочных похоронах своей души. Ну что же, желание исполнилось. Его сердце уже показывают за деньги, и не слишком дорого заплачено за публичное поругание. На помпезных поэзо-концертах подают «мороженое из сирени», «шампанское в лилии». Все стыдливые и тайные слова поэзии «распивочно и на вынос», со скидкой для учащихся, с бесконечными бисами «очам души твоей», «болезнь» и «страх», «плач совести» и «хохот лиры» — все, все распродается!

Есть избранники; их жизнь — тайна и несчастие. Слава удовлетворяется их могилами, не смея запятнать самое страдание. Так жил и умер Тассо, или Шекспир, о котором мы не знаем почти ничего. Так нищенствовал Сервантес и томился в течение сорока лет Поль Верлен.

Но есть и другие, для которых гений становится могильщиком.

Вычеркнутые из списка живых собственным величием, они жадно существуют, чтобы погибнуть случайно; преждевременно опустошенные, до дна испитые, всеми изведанные творцы.

Игорь Северянин — крайнее выражение именно этой категории.

Он не только пережил свое дарование: заживо переваренный толпой, добыча тысячи тысяч желудков, он исчез, измельчал в непрестанном процессе общественного пищеварения.

«Victoria Regia» — одна из последних книг Северянина. Страницы ее, как лепестки этого пышного цветка-паразита. Лишенные аромата, плотно, всею короной вросшие в теплое и сырое болото, они наливаются яркой и болезненной краской.

Сожаление и боязнь сквозят в остывающих строфах.

О, век безразумной услады,
Безлистно-трепетной весны,
Модернизованной Эллады
И обветшалой новизны!

Это значит, что «Громокипящий кубок» упал в трясину, его золото перестало блестеть, и «Victoria Regia» выросла на преждевременной могиле.

II

Маяковский никогда не был фальсификатором.

Улицу не смешивал с шантаном, чернь отличал от черни просвещенной, в кармане прятал кастет и пренебрегал Северянином, как бродяга — сутенером.

Мир для него не бутафория, не мертвая, временная декорация, которую можно подновить или взять напрокат, как берет Северянин «форелевые ручьи», «экимосские юрты» и «корельские яхты».

Улица Вл. Маяковского «безъязыкая, которой нечем кричать и разговаривать», его площадь, которую «испешеходили, чахотки площе», часы, «которые падают, как с плахи голова казненного» — все, мертвое и покорное, попираемое ногами — имеет свою высокую, скрытую ценность.

Мельчайшая пылинка живого.

Ценнее всего, что я сделаю и сделал.

Камень, железо и асфальт гнутся и стонут в стихах Маяковского. Через толщу тротуаров, из-под каменных гор приходит его гнев, его месть, его жажда освобождения.

«Крикогубый Заратустра», поэт, которым воспеты мужчины, «залеженные, как больница» и «женщины, истрепанные, как пословица», Маяковский по-своему молится величайшему богу человечности:

...Люди
И те, что обидели,
Вы мне всего дороже, ближе.
Видели,
Как собака бьющую руку лижет?

Он, осмеянный

у сегодняшнего племени
Как длинный скабрезный анекдот,

видит

Идущего через горы времени,
Которого не видит никто.

Видит Поэта, и для него, Грядущего, отдает свою душу, чтобы она, окровавленная, стала «как знамя».

И еще странность.

Игорь Северянин, утонченный гурман, не побоялся такого посвящения: «Эта книга, как и все мое Творчество, посвящается мною Марии Волнянской, моей тринадцатой и, как Тринадцатая, последней».

Никто не увидел пошлости в этом посвящении, не нашел ее в фиалково-лимонном гареме, которым Северянин окружил свою Тринадцатую. Тем охотнее нашли скабрезность в задыхающихся стихах Маяковского. Его печальные многоточия, в которых больше ярости, чем желания, просмаковали вполне. Никто не захотел увидеть главного, чего нет и не было у Северянина, несмотря на эго-экстазы, груди-дюшесы и захмелевшие цветы: Любви.

А между тем, где ее больше, громадной и нежной, чем в книге, которая называется «Маяковский».

Правда, она страшна, эта любовь, она разливается «как румянец чахоточного», но с нею

Каторжане города лепрозория,
Где золото и грязь изъязвили проказу...

Чище венецианского лазорья,
Морями и солнцами омытого сразу.

Игорь Северянин не знает ревности; в березовое шале его пускают с заднего крыльца. «Жена и мать» пользуется им как морфием, чтобы немного ослабить тяжесть старой «брако-цепи». И галантный «Эксцесс» охотно идет к этой «замужней невесте», чтобы «девственно озверить» ее «алчущий инстинкт». Такая нежность, не лишенная пользы, называется «Berseuse* осенний».

Как неуместна после подобной «терпимости» безумная, ревнивая боль Маяковского:

...до утра раннего, в ужасе, что тебя любить увели,
Метался, и крики в строчки выгранивал
Уже наполовину сумасшедший ювелир.

Странная лирика. Она не умеет нравиться, у нее никогда не будет «дежурной адъютантессы». Юлии, Зизи, Инстассы и Вероники не станут утешать Маяковского мороженым из фиалок, сиреневыми шоколадами и лазоревыми жалами.

Мне, чудотворцу всего, что празднично,
Самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
Вымозжу голову каменным Невским...

Прихотливый мятежник, Северянин никогда не выходил на улицу, никогда не искал поддержки глубоко-презренной черни.

Поэзия, как и история, имеет свои дворцовые перевороты, учтивые, паркетные заговоры, производимые благовоспитанными молодыми людьми в рамках тонкого этикета.

И. Северянин как раз наиболее талантливый лейб-революционер современного искусства. Пусть Маяковский не завидует этому титулу: пока не оскудела его рельефная, образная речь, пока творчество не устало ломать старые воплощения, никто не оскорбит его, Поэта, этикеткой и номером литературного Архива.

* Колыбельная (*фр.*). — *Ред.*